

НОМО VIOLENTUS, ИЛИ ГЕШТАЛТЫ НАСИЛИЯ ГЕА им. Маймонида. Санкт-Петербург.

Понятие насилия, кажется, не нуждается в определении - настолько оно прозрачно для интуитивного постижения, совпадающего со словарными толкованиями:

Применение физической силы к кому-нибудь;
Принудительное воздействие на кого-нибудь;
Притеснение, беззаконие (С.И. Ожегов).

Однако, применительно к нашей задаче такие определения имеют весьма относительную ценность из-за их очень общего характера, и в профессиональных словарях (за исключением юридических) определения насилия мы не находим - разве что в виде прилагательного "насильственный", предполагающего все ту же интуитивную понятность. В англоязычной литературе вместо понятия насилия в адрес детей используются понятия разных видов насильственного или потенциально насильственного поведения: child abuse, child neglect, sexual abuse и sexual harassment (A. Reber, Dictionary of Psychology. Penguin Books, 1995). Многие авторы говорят также о maltreatment или mistreatment, различают физический, сексуальный и психологический abuse, анализируют разные типы насильственного поведения по отношению к детям в зависимости от среды, в которой оно происходит, широкого круга социальных, экономических, социально-психологических и других факторов. Возможно, интерпретация этих понятий порой носит расширительный характер. Возможно, представленный таким образом понятийный аппарат требует усовершенствования. Но одно бесспорно - за ним стоит большое внимание к проблеме насилия по отношению к детям. И значение таких спецификаций состоит уже хотя бы в том, что они помогают понять явление, оценить его масштабы и распространенность, строить системы профилактики и помощи, опирающиеся не на морализирование или сугубо академические исследования, но на реальное положение вещей и клиническую работу.

В русском языке эти термины не приживаются, и, по существу, у нас нет понятийного и категориального аппарата для обсуждения. Ни в обиходном, ни в профессиональных лексиконах нет языковых средств, что удивительно при креативности русского языка. Это может означать несколько взаимосвязанных вещей. Во-первых, мы только подходим к постановке проблемы, хотя явление существует давно и заявляет о себе достаточно громко. Во-вторых, коллективное сознание, подобно невроту, использует все уловки психологической защиты, чтобы не оказаться лицом к лицу с проблемой. В-третьих, открывшиеся на протяжении последнего десятилетия межкультурные контакты, а стало быть - и диффузии, вызывают множество откровенно ксенофобических и ультраконсервативных реакций. И если слово, действительно, "не только формулирует, но и формирует мысль" (В. Шкловский), то его отсутствие достаточно симптоматично. Оно свидетельствует не только о том, что проблема не имеет простых и однозначных решений, но и о том, что внимание к ней не достигло того уровня, на котором вырабатывается приемлемый понятийный аппарат.

Каждая культура решает эту проблему по-своему, и каждый человек ищет и так или иначе находит свой путь ее решения в пространстве своей культуры. В этом смысле оценочное этикетирование культур как "хороших и плохих", "диких и цивилизованных", "примитивных и развитых", "моральных и аморальных", "больных и здоровых" не выдерживает критики уже постольку,

поскольку чревато новыми попытками миссионерского или национал-патриотического экстремизма и нагнетанием внутри- и межкультурного напряжения. И ни смакование представлений о якобы традиционно российском репрессивном отношении к детству, ни приписывание российским традициям некоего особого, неизвестного и недоступного другим культурам гуманизма отношения к детству (обычно “доказываемого” известными словами Ф.М. Достоевского о цене одной слезы ребенка) не могут ни объяснить проблему, ни помочь совладать с ней. Другое дело, что проявления насильственного отношения к детям всегда разворачиваются в контексте реального бытия данной культуры: они соотносятся с ней, как фигура и фон, отношения которых далеко не однозначны: фигура не только определяется фоном, но и определяет его; в любой момент фигура может раствориться в фоне, уступив место другой фигуре; принципиально сходные фигуры существуют на демонстративно различающемся фоне и т.д.

В серии работ 1986-97 г.г. мне уже приходилось анализировать проблему насильственного отношения к детям в связи с тоталитарным воспитанием и посттоталитарным стрессовым синдромом. Очевидно, что создаваемый ими фон сильно отличается от фона сложившихся демократических культур. Но в 1990 г. Advisory Board on Child Abuse and Neglect (США) констатировал, что эти формы обращения с детьми представляют собой неотложную национальную проблему. Может быть, в США и у нас злоупотребления (abuse) и пренебрежение (neglect) в отношении детей принципиально различаются? Вот как определяет их A.Reber (1995). Злоупотребления - это “вообще, любая форма нарушений физического или психологического обращения родителей и воспитателей с ребенком”. Наиболее частые формы включают тяжелые и повторяющиеся физические повреждения (ушибы, переломы), хотя нередки и другие формы нарушенного обращения - такие, как лишение пищи, запираение в чулане или туалете, прижигание сигаретами или другими горячими предметами, сексуальные злоупотребления, эмоциональная и психологическая деструкция. Поскольку злоупотребления часто ассоциируются с тяжелыми физическими повреждениями, термин “пренебрежение” используется для менее очевидных форм: недостаточного внимания к здоровью, питанию, одежде, образованию, социализации ребенка и т.д., связанных больше с упущениями, чем с направленной линией поведения. Как можно видеть, речь идет об одном и том же. Разница, пожалуй, лишь в том, что в западных странах злоупотребления и пренебрежения достаточно четко соотносятся с низким социально-экономическим уровнем, а в люмпенизированной и криминализованной за почти 70 лет российской культуре такие корреляции менее определены.

Качественная однотипность насильственных форм поведения по отношению к детям, разумеется, не ограничивающихся только злоупотреблением и пренебрежением, нередко приводит к попыткам выделения и диагностики Homo Violentus и объяснений его происхождения через психопатологию или, по крайней мере, через идущие от Т.Гоббса к З.Фрейду и К.Лоренцу представления о животной первооснове человеческого поведения. Но даже такие крайние формы как “феномен Чикатилло” не получают объяснения в таких попытках, а распространенность насилия по отношению к детям значительно превышает распространенность душевных заболеваний. К этому надо добавить, что лишь в некоторой (и отнюдь не преобладающей) части случаев психических расстройств склонность к насилию вообще, а в адрес детей тем более, удастся проследить как прямое проявление собственно психического расстройства. Известно также, что редукция проблемы к “животному” началу несостоятельна уже хотя бы потому, что в животном мире инфантицид не только не является правилом, но и встречается в экстремальных условиях,

нарушающих инстинктивные программы поведения, и большинство животных обеспечивает детенышам необходимый уход в пределах определяемого видом срока. Более того, именно этологический и психопатологический подходы приводят к иной интерпретации, связывая проблему не с собственно инстинктивными программами, а с их сбоями, не с собственно психопатологией, а с восходящими к ней изменениями в системах внутри- и межличностных отношений.

Вот один пример, касающийся психопатологического подхода. В свое время мне пришлось вести 12-летнего мальчика, с дошкольного возраста страдавшего язвенной болезнью желудка, неврозом навязчивых состояний и учившегося явно ниже своих интеллектуальных возможностей. Его родители были довольно типичными личностями шизоидного круга: два кандидата технических наук с узким кругом общения, всегда рассудочно упорядочивавшие свою жизнь и так же рассудочно запланировавшие рождение моего пациента, а спустя три года - его брата. Но даже плановое появление первого ребенка внесло много смуты в их дотоле размеренную жизнь, и они с самого начала стремились вернуть русло увеличившейся семьи в русло былой размеренности и упорядоченности, испытывая тревогу и дискомфорт при любых проявлениях детской раскрепощенности и, с их точки зрения, неупорядоченности. О том, как это происходило, свидетельствовал рассказ отца об организации жизни ребенка к началу периода наблюдения. У мальчика наряду с обычным школьным было еще несколько дневников. В первом был тщательно расписан режим дня, и мальчик должен был отмечать выполнение каждого из его моментов. Во втором было расписание домашнего приготовления уроков - в нем следовало указывать время начала и окончания домашних занятий по каждому из предметов. Отец регулярно проверял все три дневника, и за накоплением определенного количества прегрешений следовало физическое наказание. Кроме того, был еще "дневник хороших и плохих дел", в котором крупным почерком мальчика на полутора страницах перечислялись "хорошие" и убористым почерком отца примерно на десяти страницах - "плохие" дела. Свести такую тактику воспитания только к холодному равнодушию или садистическому компоненту, столь же часто, сколь необоснованно приписываемым шизоидности, не удавалось. Больше того, родители даже страдали от необходимости наказывать сына. За пару месяцев до обращения ко мне они обращались к популярному в то время детскому психотерапевту, который велел "месяц ежедневно наказывать, а когда научится подчиняться, привести для лечения". И отец, выполнивший "назначение", сказал об этом: "Бью и плачу. Но ведь врач велел!". И вот я видел перед собой не "холодного шизоида", а человека, страдающего от неспособности другими путями и способами разрешить пугающий его конфликт "порядка и хаоса", "ответственности и права".

Примеры такого рода, показывающие нетождественность переживания и определяемого им поведения, скорее, правило, чем исключение. Анализируя психологию жизненной среды, М.Сernousek (1989) обращается к этологическим механизмам и ссылается на исследование Дж.Кэлхоуна в Национальном Институте Психиатрии США, который в эксперименте на крысах смоделировал перенаселенную городскую среду. По мере увеличения популяции возрастало количество самцов, которых Дж.Кэлхоун назвал "уголовниками", с ярко выраженной склонностью к физическому и сексуальному насилию, гомосексуальному поведению, каннибализму с поеданием детенышей изнасилованных самок; половина самок погибла от сексуальной агрессии самцов, выжившие переставали строить гнезда и ухаживать за детенышами, а то и поедали их - детская смертность достигла 96% против 50% в условиях обычной населенности. О том же, но на человеческом уровне, говорят

философы, анализируя человеческое бытие в XX в. М.К.Мамардашвили (1989) называет это “антропологической катастрофой”, имея в виду “событие, происходящее с самим человеком и связанное с цивилизацией в том смысле, что нечто жизненно важное может в нем необратимо сломаться в связи с разрушением или просто отсутствием цивилизационных основ жизни”. О том же пишет В.С.Библер (1989): “Мировая война. Мировая революция. Вообще социальные катаклизмы всемирного масштаба... Тоталитарные режимы, проникающие в микроструктуру личных судеб, взрезающие плотную ткань внеисторических семейных заповедей и бытовых стереотипов... В таких взрывах человек XX в. выбрасывается из постоянных социальных связей и луз (цивилизации) ... это уже совсем особый тип социального общения и социальной детерминации... В жизни и сознании и мышлении людей XX в. обнаруживается неизбежность жесткого столкновения (и своего рода боровская дополнительность) между взаимоисключающими и взаимоопределяющими “регуляторами человеческого поведения, деятельности... Сопряжение всех этих граней... становится мучительно вопрошающим, отчаянной трудностью, предельной коллизией “быть или не быть” для каждого человека... Чтобы поступать сознательно, необходимо заново, изначально решать и перерешать вопросы бытия... заново (каждому для себя) изобретать исходные нравственные и мыслительные и эстетические коллизии...” Осознание всех этих чудовищных и странных сдвигов в нашем бытии носит очень трудный, двойственный и мучительный характер. Не обращаясь к психопатологии в ее клиническом аспекте, В.С.Библер, по существу, констатирует верность положения З.Фрейда о неврозе как цене цивилизации, характерной для быстро прогрессирующих, то есть - почти для всех современных, культур. В условиях такого невротически фрустрированного бытия стимулируется и враждебная (эмоционально обусловленная и направленная на компенсацию), и инструментальная (направленная на достижение позитивных целей) агрессия (по D.Myers, 1996).

Представляются достаточно очевидными два момента:

1. Чем ниже порог фрустрационной толерантности (а он во многом связан с индивидуальными особенностями), тем вероятнее уклонение в сторону крайних вариантов пассивности и активности, а стало быть - в сторону большей распространенности агрессивного и насильственного поведения.

2. Нет никаких оснований считать, что из сферы такого поведения будут исключены дети - напротив, они не только ближайший, но и более удобный (декларативная мотивация ответственностью за них и любовью к ним) и менее защищенный объект насильственного поведения.

Наконец, с позиций теории социального научения, насильственное поведение вообще и по отношению к детям в частности является одним из аспектов приобретенного жизненного опыта: “И наш собственный опыт, и наблюдения за успехами других порой убедительно демонстрируют нам, что агрессия приносит определенную выгоду”, - замечает D. Mayers (1996). Этому в немалой степени способствуют и достаточно распространенные во всех культурах (хотя, конечно, в каждой на свой лад) представления о том, что воспитанные в строгости и повиновении старшим дети вырастают “лучшими” людьми, чем их сверстники, лишённые благодатной строгости взрослых и растущие в обстановке попустительства и мягкости. Нет нужды напоминать, в какой степени такие представления обязаны тому, что проблемы собственного ребенка всегда болезненнее проблем чужого, а инструментальная сторона общения других с детьми гораздо доступней наблюдению, чем эмоциональная. Кроме того, едва ли кто-то из родителей мечтает вырастить ребенка неспособным защитить себя и добиться своего, и насильственный стиль взаимодействия прививается детям вполне сознательно и целенаправленно.

Наконец, средства массовой коммуникации *volens-nolens* поддерживают и стимулируют такие стереотипы (я говорю это отнюдь не в популярном нынче смысле обвинения СМК во всех смертных грехах - вместе со всеми другими человеческими институтами они переживают своего рода кризис и ищут свои пути; а вероятность того, что какой-нибудь “ужастик выполняет катарсическую или шунтирующую функцию, едва ли меньше вероятности того, что апокалиптические сцены и новости из “горячих точек”, воспринимаемые в уютном кресле под аккомпанемент множества релаксирующих и доставляющих удовольствие вещей, будут стимулировать насильственное поведение.)

Понятно также, что эти три подхода (конституциональный, фрустрационный и социального научения или, скажем иначе, генетический, социальный и психологический) представляют собой не взаимоисключающие теории, но рассмотрение уровней мотивации насильственного поведения, которые в реальности всегда взаимодействуют между собой, образуя достаточно сложные и всегда прокрашенные индивидуальными смыслами и значениями конstellации. Внутренняя же логика функционирования этих конstellаций такова, что насильственное поведение не может не адресоваться детству как существующей в настоящем проекции прошлого на будущее. И чем ниже фрустрационные пороги человека, чем выше уровень его цивилизационной (социальной) фрустрированности и интенсивнее социальное научение насильственности, тем больше вероятность смещения вектора насильственного поведения к детству - и в объектном, и в субъектном смысле.

Своеобразие советского/российского опыта состоит не в том, что действуют какие-то иные, традиционные именно и только для нас механизмы. Такая позиция может привести разве что к изобретению велосипеда вместо приспособления уже существующего к нашим дорогам. Оно связано, как я уже показывал (1992), с тем, что воплощенная в 70-летнем социальном эксперименте коммунистическая утопия, используя все возможные и невозможные механизмы отчуждения человека от самого себя, максимально задействовала все названные механизмы, до предела заострила то, что А. Greenwald (1989) назвал “тоталитарным Я” (когнитивная эгоцентричность, когнитивный консерватизм, внутренний локус ответственности за желательные и внешний - за нежелательные результаты деятельности), и сформировала позитивное восприятие сочетания добра и зла при негативном восприятии их разделения и бескомпромиссности (В.А. Лефевр, 1990); доминирование такого рода этической системы рассматривают как антропологическую катастрофу (М.К. Мамардашвили, 1988, 1989; Ю.А. Шрейдер, 1990). Результатом тоталитарного воспитания становилась или, по крайней мере, должна была становиться “... развитая, энергичная, жизнерадостная, целеустремленная, волевая личность, по-своему честная, по-своему идейная, жестокая до беспощадности, духовно узкая, религиозно невежественная, зачастую принимавшая подлость за подвиг, а бесчеловечность - за мужество и героизм”. Создавался законченный тип самоуверенного фанатика, воображающего, что его государство - лучшее из всех государств в мире, его народ - талантливее всех народов, его квазицерковь - ковчег абсолютной истины, его идеология - безусловно правильная, его вождь непогрешим - так писал Даниил Андреев в “Розе мира”.

Крушение системы тоталитаризма со всеми социально-экономическими трудностями этого крушения, разрушение типичных тоталитарных иллюзий вызвало сложный эмоциональный комплекс утраты, сравнимый с абстинентным синдромом при наркомании (Л.Я. Гозман, А.М. Эткинд, 1991), при котором эпицентр тоталитарного воспитания сместился из области официальной пропаганды в область личностных установок, в том числе в сфере семейных

отношений, что имеет самое прямое к поддержанию и усилению насильственного поведения по отношению к детям.

Вот узловые моменты механизмов такого поведения.

1. Вместо присущего демократическому воспитанию партнерства взрослых и детей как неодинаковых, но равноправных партнеров - противостояние взрослым детям как дискриминируемому меньшинству. В полном соответствии с выявленной В.Лефевром этической системой взрослые исполнены самых добрых побуждений, но руки этого добра слишком часто сжаты в кулаки, скрещены на груди или вытянуты в указующе повелительном жесте.

2. Принятие ответственности за ребенка и его развитие расщеплено: все желательное - результат воспитания, все нежелательное - вопреки ему. Это, с одной стороны, закрепляет приносящие немедленный успех паттерны воспитания и делает их ригидными, а с другой - приводит к тотальному контролю жизни ребенка, переживаемому им как недоверие, отрицание, унижение.

3. При этом свойственное “тоталитарному Я” взрослого заниженное самоуважение и связанные с ним гиперкомпенсаторные тенденции часто приводят к тому, что взрослый чувствует себя “жертвой” ребенка и наращивает в ответ потенциал насильственного общения с ним.

4. Поскольку “тоталитарное Я” ориентировано не столько на достижение успехов, сколько на избегание неудач, поведение взрослых строится так, как если бы ребенок был не просто *tabula rasa*, а от рождения нес в себе все зло мира, выкорчевать которое - и есть добро и цель воспитания. В такой корчующей педагогике ребенок из субъекта взаимодействия и общения превращается в объект воздействия и обращения.

5. “Тоталитарное Я” взрослого в любом проявлении самости ребенка, выходящем за пределы социально поощряемых действий, видит угрозу его будущему благополучию, а потому стремится, оберегая ребенка, эту самость блокировать. Ребенок не принимается таким, какой он есть. Ему предписывается быть таким, каким он быть не может или не хочет.

6. Заниженное самоуважение “тоталитарного Я” взрослых переводит их воспитательное поведение из плоскости самореализации и самоактуализации в плоскость самоутверждения. Партнерство с ребенком вытесняется главенством взрослого, сообщающим ему необходимое чувство своей значимости и самоуважения. Послушание становится главной задачей ребенка, но в силу всего сказанного выше взрослые почти постоянно провоцируют непослушание или интерпретируют поведение ребенка как непослушание, открывающее путь к новому “сеансу самоутверждения.

7. Присущая “тоталитарному Я” недостаточность рефлексии приводит к выбору, на первый взгляд, самого короткого и эффективного, а на деле самого длинного и тупикового пути воспитания - вербального, в содержании которого доминируют инструкции, запреты и негативные оценки не столько даже поступка, сколько совершившего его ребенка.

8. Последнее в соединении с неуважением приватности ребенка приобретает характер откровенного и часто обучающего насилия. Что, например, значит для “проштрафившегося” ребенка быть выставленным нагишом перед группой или классом, как это было с несколькими моими пациентами? Чем обернется для других детей их невольное и пусть даже пассивное соучастие в этом акте постыдной гражданской казни? Какое количество взрослых не видит ничего особенного в брошенной ребенку фразе: “Я думал(а), что ты просто придурок, а ты совсем дурак?”. Но весной этого года, по сообщению “Известий”, уфимского семиклассника нашли выбросившимся с 12-го этажа через день после того, как он выслушал от учителя эту фразу при всем классе.

Осуществляется насильственное поведение по типу “идеального преступления”, в котором алиби взрослых обеспечено их заботой и любовью. При этом даже отнюдь не насильственные действия взрослых могут восприниматься как насилие, вызывая неожиданные эффекты и вновь стимулируя тактику насилия. Так, например, происходит, когда родительское тепло из-за недостаточной рефлексивности прорывается спонтанными выбросами ласки вне актуального контекста общения - ребенок при этом обязан принять ласку вне зависимости от своего настроения в этот момент, даже в такой внешне приятной ситуации оказываясь лишь объектом манипуляций.

Как мне представляется, глубоко внедренные за семь десятилетий тоталитаризма в массовое сознание и культуру гештальты психологического насилия в общении с детьми, не соизмеримые даже с сохранявшимися в начале столетия традициями патриархально-авторитарной репрессивности, и обуславливают своеобразие российского опыта. По отношению к этому фону психологического насилия другие формы насильственного поведения, в частности - физические и сексуальные, предстают как производные от него фигуры. С таким наследством Россия оказалась перед лицом достаточно активно происходящего в мире смещения акцентов на гуманистические и правовые аспекты проблемы “Ребенок и насилие”. Одними из первых подписав Конвенцию по правам ребенка, принятую в 1989 г. Генеральной ассамблеей ООН, то есть приняв ее в качестве обязательного для исполнения международного закона, мы мало готовы к исполнению его. Два года назад, редактируя первый выпуск Бюллетеня Защиты Прав Ребенка, я с трудом разыскал текст Конвенции, которая по идее должна бы распространяться максимально широко. Тогда же во всем Петербурге я не смог разыскать независимого юриста-практика, специализирующегося в области охраны прав ребенка (наличие в Комитете по образованию Управления по охране детства не решает проблемы уже в силу зависимости работающих в нем людей). Законы и подзаконные акты, обеспечивающие выполнение Конвенции и корреспондирующиеся с ней статьи Конституции РФ, если и существуют, то, во-первых, не покрывая поля реальных потребностей, а во-вторых - подальше от глаз тех, кто должен бы ими пользоваться.

Инициатива НАДПП по учреждению региональных представительств по охране прав ребенка уже несколько лет висит в организационно-финансовом вакууме. В результате в сферу внимания следственных и судебных органов попадает лишь ничтожная толика детей - жертв насилия. Но и попав, ребенок рискует оказаться дважды и трижды жертвой: убежав от жестокого обращения в семье или интернате, он рано или поздно столкнется с милицией, с высокой вероятностью окажется в психиатрической больнице и выпишется оттуда в ту же семью или интернат, где все начнется сначала. Те попытки реализации Конвенции, которые предпринимаются, осуществляются в криминализованном социуме, где тексты большинства сфер жизни пишутся рукой насилия, создавая новые насильственные контексты бытия и развития детей.

Сказать, что для решения проблемы ничего не делается было бы ошибкой. Прежде всего это усилия НГО и общественных организаций, тогда как в ведомственных недрах царит привычный мегаломанический дух создания ничего не знающих друг о друге и потому многократно дублируемых “центров” вместо протраивания рабочих сетей. В итоге существует множество элементов и даже структур, но системы нет и при таком подходе в обозримом будущем не предвидится. Мне такая система представляется в следующем - уровневом - виде.

Г о с у д а р с т в о. Исчерпывающая юридическая и организационная проработка, результатом которой являются:

1) полное законодательное и исполнительное, включая судебное, обеспечение охраны прав ребенка;

2) создание в системе прокуратуры службы охраны прав детства (существующие сегодня в правоохранительных и образовательных органах службы больше охраняют от несовершеннолетних, чем самих несовершеннолетних);

3) создание сети информационно-аналитических центров (но не “оргметодотделов” в привычном старом смысле), систематизирующих и анализирующих деятельность ГО, НГО, общественных организаций и частных лиц и выполняющих функции максимально широкого распространения знаний и информации;

4) введение в программы медицинского и психологического обучения обязательного курса экспертизы насилия по отношению к несовершеннолетним.

Необходимо также создание под эгидой МЧС “кадрируемых” (резервных) психологических групп, задействуемых в работе с детьми по мере необходимости в очагах военных конфликтов, стихийных бедствий, техногенных катастроф - сегодня эти задачи решаются силами энтузиастов.

О б щ е с т в о. Кристаллизация в правозащитных организациях структур по защите прав ребенка, оппонирующих государственному уровню.

В о с п и т а т е л ь н ы е и о б р а з о в а т е л ь н ы е у ч р е ж д е н и я. Интенсификация начинающегося перехода от инструментальной к гуманистической педагогике в структуре подготовки и усовершенствования кадров. Создание отвечающих возможностям детей школьных курсов “Человек и его права” и “Ненасильственное общение”. Перенос акцентов психологических служб детских учреждений и школ с “тестовой фильтрации” на помогающую психологию.

П с и х о л о г и ч е с к а я п р а к т и к а, обеспечивающая очное и телефонное консультирование и психологическую помощь жертвам насилия и их семьям. В этом плане нельзя не отметить деятельности Российской Ассоциации Телефонов Экстренной Психологической Помощи, объединяющей сегодня более 240 “горячих линий” (против примерно 10 во всем бывшем СССР) и начинавшейся в 1989 г. с создания в Петербурге первой в СССР негосударственной “горячей линии” для ребенка и семьи.

М е д и ц и н а и п с и х и а т р и я, обеспечивающие необходимые виды экспертизы и помощи в случаях насилия в адрес детей.

Нерв этой максимально общей схемы, безусловно требующей обсуждения и детальной проработки, в ее системности, обеспечивающей работу разных уровней, организаций и профессий по принципу “вместе”, а не “рядом”, и отход от совершенно непродуктивного и очень неэкономичного деления работы с жертвами насилия по его видам. В такой системе благодаря созданию полномасштабных рабочих сетей возможно совмещение принципов экономичности и избыточности. Такая система сможет не “штопать парашют на лету” и не “затыкать дыры”, но функционировать как постоянная (ибо проблема “ребенок и насилие” никогда не будет решена “полностью и окончательно”) и гибкая (ибо заорганизованность ее парализует). Наконец, такая система сможет гораздо эффективнее взаимодействовать с населением и средствами массовой информации.

И в заключение. Безусловно, совладание с проблемой насильственного отношения к детям требует усилий представителей самых разных профессий, каждая из которых видит проблему под своим углом зрения и, соответственно, пытается решать ее доступными ей средствами. Но сегодня складывается гуманитарно-правовой контекст, в котором перекладывание ответственности сменяется ее распределением. В этой связи позволю себе напомнить слова двух

- к сожалению, уже покойных - замечательных людей. Человек, заметил М.К.Мамардашвили, рождается свободным в том смысле, что свобода ему никем не дана и не навязана; рождаясь представителем человеческого вида, он сам творит себя как человек, а свобода - "это тогда, когда свобода одного упирается в свободу другого и имеет последнюю своим условием". Там же, где это обуславливающее соприкосновение с ребенком не ощущается или не осознается взрослым, не становится его внутренним законом, должен действовать закон внешний, ибо, по словам Б.Окуджавы, "Свобода - это воля, ограниченная законом".